

Он поднялся, молча стёр с бамбуковых планок грязь, отмыл со своего тела нечистоты и, по-прежнему храня молчание, повернулся и продолжил работу. В глубинах его глаз не было и слепа гнева — лишь бездонное, скрытое терпение.

Он прекрасно понимал, что в данный момент у него нет ни прав, ни власти, ни заступников, ни опоры. Лишь терпение, лишь сокрытая искра таланта, лишь упорная учёба позволят ему занять своё место в эту смутную пору, исполнить предсмертную волю матери и отыскать путь к выживанию для всех простых людей Поднебесной.

Однажды суровой зимой, когда свирепствовала метель, небо и земля слились в сплошную белизну. Ледяной ветер, острый как нож, обжигал лицо до боли. Лю-ши по-прежнему заставляла его идти в горы за хворостом, носить воду и молоть муку, ни капли не заботясь о том, что он мал, слаб, а на улице лютая студия и трескучие морозы.

— Подумаешь, снежок пошёл! Сегодня ты обязан нарубить сто двадцать цзиней хвороста! Не хватит хоть цзиня — брошу тебя в снегу, сдохнешь там от холода! — уперев руки в боки, стояла на пороге Лю-ши и злобно отдавала приказы.

Цзян Цзя был одет в одну тонкую рубаху, на ногах — рваные туфли. Шагнув в бушующую снежную круговорот, он углубился на задние горы, где снег лежал по колено и идти было тяжело. Сухие ветки укрыло сугробами, отыскать их оказалось непросто. Ступая то глубоко, то мелко, он на ощупь шарил в снегу; его руки и ноги быстро окоченели и потеряли чувствительность, а раны от ледяного ветра невыносимо ныли, грозя лишить его сознания.

Опираясь на ствол дерева, он тяжело дышал морозным воздухом. В животе было пусто, его мучили голод и холод, в глазах темно рябило, и он чуть не рухнул в сугроб. В помрачённом сознании вновь проступили мягкие черты лица матери, её тихий наказ: «Цзя-эр, выживай, скрывай свой разум и сердце, не ломай свой стержень...»

Цзян Цзя резко пришёл в себя, сжал в ладони Бронзову Предков Печать, до боли стиснул зубы и продолжил рубить сушняк в снегу. Метель хлестала по лицу, словно лезвиями, но он уже ничего не чувствовал — в сердце жила лишь одна мысль: выжить, учиться через силу, закалять душу, и однажды принести этой смутной эпохе мир, а матери даровать упокоение на том свете.

К вечеру, взвалив на плечи вязанку дров тяжелее вчерашней, он кое-как приплёлся домой. Весь он был усыпан белым снегом, волосы и брови покрылись инеем, руки и ноги от мороза посинели и почернели, почти потеряв чувствительность.

Заметив, что вязанка нужного веса, Лю-ши не выказала и капли жалости. Холодно бросила:

— Сложи дрова, живо бери коромысло за водой, а потом молоти муку! Если вздумаешь сегодня лентяйничать — выставлю за дверь дровяного сарая, будешь мёрзнуть там до утра!

Цзян Цзя молча кивнул, сбросил вязанку, подхватил вёдра и снова шагнул в метель. Десять ли горной дороги, глубокий снег да скользкая тропа — он несколько раз падал в сугробы, с ног до головы покрываясь ледяной водой, дрожал от холода, но всё равно сжав зубы поднимался и шёл дальше.

Глубокой ночью в дровяном сарае через щели задувал ветер, стоял ледяной погреб. Цзян Цзя свернулся калачиком в соломе, его обмороженные руки и ноги гноились и кровоточили, боль не давала сомкнуть глаз до утра. И всё же он раскатывал бамбуковые планки и при тусклом свете, отражённом от снега, продолжал изучать военные трактаты, вычислять движения звёзд и практиковать дыхательные упражнения.

Он бормотал себе под нос, словно беседуя с матерью, и голос его был так тих, что расслышать его мог лишь он сам:

— Матушка, дитя твое не страдает. Я помню твои слова: спрячь острые лезвия, живи достойно... Я обязательно упорно выучусь на человека, непременно сокрушу жестокую Династию Шан и принесу покой Поднебесной, обязательно перестрою твою могилу, поставлю стелу для жертвоприношений, чтобы ты обрела покой и почёт...

Иероглифы на бамбуке постепенно казались ему мириадами воинов и коней, небесными светилами, страданиями простого люда в смутное время и неугасимым устремлением в сердце. Он больше не был тем юношей, что лишь горько оплакивал смерть матери — он стал странником, который среди холода, голода, жестокого обращения и унижений крупца за крупцей закалял железное Сердце Дао.

Родовой дядя Цзян Хуань встал среди ночи и, заметив, что в дровяном сарае всё ещё горит слабый огонёк, тихо приоткрыл дверь. Увидев, что Цзян Цзя, свернувшись в соломе, весь дрожит от холода, но продолжает усердно вчитываться в бамбук, он почувствовал невыносимую боль в груди, глаза его защипало. Украдкой достав из-за пазухи чёрствый кукурузный палочку-воту, дядя сунул её мальчику в руку и тихо произмолвил:

— Племянник, поешь скорее, да смотри, чтобы твоя тётка не видела... Ты, ребёнок, терпишь столько мук, но никогда не жалуешься на усталость, ни на что не ропщешь. Дяде смотреть на тебя больно...

Цзян Цзя принял воту, низко поклонился в знак благодарности, и голос его звучал спокойно и мягко:

— Спасибо родового дяде за доброту, младший принимает её всем сердцем. Мне не тяжело, всё это лишь закалка, и дитя принимает её со сладостью.

Цзян Хуань тяжело вздохнул и покачал головой:

— Тебе ведь всего двенадцать... В твоём возрасте положено жить беззаботно, а приходится

претерпевать такие муки. Во всём виновата эта проклятая смутная пора, эти проклятые непосильные подати жестокой династии...

Цзян Цзыя поднял взгляд на бушующую за окном метель, в глубинах его глаз мелькнуло суровое выражение, и он тихо произнёс:

— Родовой дядя, будьте спокойны, у смуты непременно будет конец, у жестоких законов настанет день краха, и дитя непременно сделает всё возможное, чтобы спасти простой люд от огня и воды.

Цзян Хуань принял это за детский бред, горько усмехнулся и больше ничего не сказал. Он тихонько удалился, не смея задерживаться дольше — боялся, что Лю-ши заметит, и это снова выльется в побои и брань.

Сжимая в руке холодный вотоу, Цзян Цзыя ел его маленькими кусочками, а его взгляд вновь вернулся к бамбуковым планкам. Разум его оставался безмятежным, а воля — крепче стали. Дневное рабство и унижения были испытанием для тела; ночное чтение при тусклом свете — закалкой для души. Телесные муки можно стерпеть, душевная закалка делает сильнее, и все страдания лишь прокладывали самую прочную дорогу для его будущего взлёта.

Жестокое обращение Лю-ши ни на каплю не уменьшилось, напротив, стало ещё изощрённее.

Однажды, когда Цзян Цзыя молол муку, от многодневного голода, холода и изнурительной работы у него кончились силы. Земля качнулась под ногами, он едва не упал, и жернов на мгновение замер. Лю-ши как раз это увидела, её охватила ярость, она схватила стоявшую во дворе деревянную палку и с криками обрушила её на Цзян Цзыя.

— Маленький ублюдок! Смеешь лентяйничать! Прибью тебя, дармоеда поганого!

Деревянная палка с размаху била Цзян Цзыя по спине, плечам и рукам. К старым ранам добавились новые, кожа лопнула, кровь пропитала одежду. Цзян Цзыя дрожал от боли, но всё же держал спину прямо, не уворачивался, не отступал, не говоря ни слова. Он лишь молча терпел побои и брань Лю-ши, только обеими руками крепко прижимал к груди бамбуковые свитки, защищая их от повреждений.

Долго избивая его, Лю-ши выбилась из сил и тяжело задышала. Заметив, что Цзян Цзыя по-прежнему хранит молчание — не молит о пощаде и не плачет, — она разозлилась ещё сильнее, с размаху пнула его ногой, повалив на землю, и выругалась:

— А ну марш стирать! Выстирай всю грязную одежду семьи! Не отмоешь дочиста — сегодня ни сна, ни куска еды не получишь!

Цзян Цзыя медленно поднялся с земли. Боль в спине была невыносимой, любое движение

отдавалось в ранах, но он молча подхватил сваленную в углу грязную одежду и направился за ворота, к ледяной реке.

Шёл глухой зимний месяц, река сковала льдом, холод пробирал до костей. Разбив тонкий лёд, он опустил вещи в ледяную воду и принялся их мять. Стоило рукам погрузиться в ледяную воду, как острая боль пронзила их до самого сердца, а обмороженные, потрескавшиеся раны при соприкосновении с водой заставляли всё тело содрогаться в судорогах. Тем не менее, он продолжал стирать, стискивая зубы, движения его были уверенными, без малейшей суеты.

У реки завывал ледяной ветер, снег колот лицо. Ровно целый час он провёл за стиркой, его руки распухли и покрылись язвами, а кровь, смешавшись с ледяной водой, окрасила речную гладь. Наконец, вся одежда была выстирана, отжата и развешена.

Вернувшись во двор, Лю-ши проверила вещи, убедилась, что они чисты, но всё равно холодно бросила:

— Проваливай в дровяной сарай! Сегодня без ужина, без огня, сиди и хорошенько думай над своим поведением!

Цзян Цзя поклонился и тихо ответил:

— Слушаюсь, тётка.

Он развернулся и зашагал в мрачный дровяной сарай. Свернувшись клубочком в соломе, голодный, замёрзший и израненный, он всё же достал бамбуковые планки и при лунном свете продолжил учёбу.

Он прекрасно понимал, что все унижения и невзгоды в этом мире были лишь испытанием небес. Ранняя смерть матери, крушение семьи, жизнь на чужбине под крышей чужих людей и нескончаемые издевательства — всё это стирало его юношескую наивность, сгоняло мягкотелость и печаль, выковывая в нём твёрдость, стойкость, терпение и острые лезвия характера.

Он больше не убивался из-за собственной судьбы, не гневался из-за сиюминутных унижений. Всё, что видел его взгляд и к чему стремилось сердце, было лишь простым народом Поднебесной, миром в смутную пору и заветом матери.

Он медленно скрестил ноги и погрузился в практику дыхания, впитывая духовную энергию неба и земли, чтобы унять боль в теле. Его разум слился с миром, заставив забыть о холоде сарая, о ранах на теле и обо всех мирских притеснениях — осталось лишь несокрушимое Сердце Дао и негибемый железный стан.

Зима ещё не закончилась, весенние холода всё ещё свирепствовали.

Не успел оглянуться Цзян Цзыя, как шёл уже второй год его жизни на птичьих правах в Деревне Цзян. Фигура его по-прежнему оставалась тощей, но он стал на голову выше, чем два года назад, а его спина выпрямилась, напоминая сосну. В чертах лица ушла юношеская незрелость, оставив лишь бездонное спокойствие.

Дровяной сарай всё так же продувался всеми ветрами и оставался ледяным, солома — скудной и жёсткой. Раны на обмороженных руках и гноившиеся трещины возвращались каждую зиму: гнили, покрывались корочкой и снова гнили, наслаиваясь друг на друга, так что он давно потерял к ним чувствительность.

Придирки, побои и рабский труд со стороны Лю-ши с каждым днём становились всё тяжелее, словно она пыталась выжать из него последние капли жизненной силы. Родовой дядя Цзян Хуань оставался слабым и боялся жены, смеявшись лишь ночами тайком совать ему за пазуху недоеденный ломоть и бросать пару слов бессильного утешения. Сельчане, видя его нищету и низость положения, в основном глядели с холодным презрением и обходили стороной, а детвора продолжала гонять и дразнить, и крики «ничтожество», «книжный червь» и «голытьба» не смолкали круглый год.

Однако всё это больше не могло поднять ни единой ряби в душе Цзян Цзыя.

Боль утраты матери, муки голода и холода, удары палок и холодность людских сердец — двухлетний адский закал не только не сломил его, но и тихо пробудил глубоко скрытый в его крови талант: умение читать ци земли и небес, распознавать черты лиц, понимать чужие мысли, отличать удачу от беды, предчувствовать несчастья и видеть истинную сущность людских сердец.

Без наставников и книг, лишь через холодное созерцание, ночные раздумья, наблюдение за людьми и за собой, в нём естественным образом прозрело это всепостигающее зрение.

Ему не нужно было ничего спрашивать или говорить — достаточно было одного взгляда. По цвету лица, чистоте или мутности взгляда, напряжению бровей, весу движений, скорости речи и уверенности шага он мгновенно понимал, о чём человек думает, чего жаждет, чего боится, где лжёт, где добр, а где зол. По колебаниям ауры вокруг человека, её яркости или тусклости, чистоте или грязи он видел судьбу чужого дома, скорые беды и удачи, долголетие или короткий век, знатность или низость, верность или предательство, корысть или честность.

Человеческие сердца перед его глазами более не имели никаких преград — они просматривались словно линии на ладони, яркие, как огонь.

В глубокую ночную пору в дровяной сарай снова пришла метель.

Скрестив ноги на соломе, Цзян Цзыя сидел с закрытыми глазами и практиковал дыхание. Потоки ци медленно циркулировали вокруг него, и хотя холод пробирал до костей, он уже не мог ни на йоту поколебнуть его разум. Открыв глаза, он спокойно уставился в чёрную ночную тьму за окном. Его взгляд словно пронзал метель, глиняные стены и хижины, опускаясь на всю

Деревню Цзян, на каждого человека, что спал, ворочался в постели, страдал от тревог, жадничал или плел интриги.

Лю-ши сладко спала в главной комнате, бормоча во сне о зерне, деньгах, отрезах ткани, о том, как измываться над слугами и как урвать выгоду за чужой счёт. Её окружала густая мутная ци, сплетённая из жадности и склонности, а скупость въелась до мозга костей — этой жизни было суждено пройти в суете и мелочности, а старость обещала быть одинокой и бесприютной.

Родовой дядя Цзян Хуань свернулся калачиком на кане. В его голове роились лишь страх перед женой и чиновниками династии, тревога об арендной плате за землю и бессильное чувство вины. Его аура была робкой и мутной, вся его жизнь прошла в серости и посредственности, не имея ни смелости, ни разума — он мог лишь влачить жалкое существование на самом дне, не сделав ни шагу вперёд.

Богатей деревенский, Старик Ван, во сне злобно подсчитывал арендную плату арендаторов, втайне сговариваясь с чиновниками династии и забирая себе наделы соседей. Его окружала тёмная зловещая ци, удача отвернулась, беда была близко — не пройдёт и полгода, как его постигнут убытки и несчастья.

Бедный арендатор Старик Чэнь во сне всё ещё сокрушался о непомерных податях, голодающих жене и детях. От него исходила тягостная тоска, но сердце его оставалось добрым, а аура, пусть и слабая, была правильной. И хотя вся жизнь его прошла в нищете, он сумеет мирно встретить старость, а потомки обретут крохи благополучия.

Одним взглядом он окинул все проявления людского мира, насквозь разглядел холодность человеческих сердец.

Добрые, злые, жадные, честные, верные, подлые, храбрые, трусливые, фальшивые, искренние... все они проступали на дне его души со всей отчётливостью до мельчайших деталей.

Прежде он ещё мог почувствовать тяжесть в груди из-за побоев тётки, тайком вздохнуть из-за трусости дяди или ощутить холодок от равнодушия односельчан.

Теперь же он лишь молча смотрел на них, словно со стороны наблюдая за увяданием и расцветом лесных трав, за течением ручья, за падением и подъёмом метели. Без печали, без радости, без гнева, без жалости, без ненависти, без любви.

Человеческое сердце таково от природы, смутное время таково от природы, Небесный Дао таков от природы.

Винить некого, ненавидеть некого, жалеть бесполезно, гневаться бесполезно — остаётся лишь видеть насквозь, прятать сердце, терпеть и ждать своего часа.

На следующий день, ещё до рассвета, резкий крик Лю-ши снова прорезал утренний туман.

— Маленький ублюдок! Всё ещё валяешься в сарае, ждёшь смерти?! А ну вставай, марш в горы косить траву для быка, а потом собирай навоз для удобрений! Если сегодня не хватит — живьём шкуру сдеру!

Цзян Цзя медленно поднялся, движения его были уверенными. Одежда старая, но чистая, волосы аккуратно собраны в пучок. На лице не было ни следа утренней сонливости, ни тени обиды или раздражения — он выглядел таким же спокойным, как изваяние из камня.

Он с поклоном ответил:

— Младший понял, сейчас отправлюсь.

Голос звучал ровно, без единой волны, в нём невозможно было расслышать ни капли эмоций.

Увидев его непробиваемый, онемевший и молчаливый вид, Лю-ши разозлилась ещё сильнее. Шагнув вперёд, она ткнула пальцем ему в нос и отчитала:

— Хватит притворяться мёртвым! С утра до ночи ходишь с мрачной физиономией, на кого это ты напоказ выставляешь?! Говорю тебе: раз ешь хлеб из моего дома, отработывай до самой смерти, брось своё фальшивое благородство!

Цзян Цзя опустил взгляд и отозвался:

— Младший запомнил, не посмею ослушаться.

Лю-ши до боли сжала зубы, но выплеснуть злость было некуда. Сплюнув на землю, она развернулась и ушла в дом:

— Проваливай! Живо за работу! В полдень не смей возвращаться обедать, пропустишь разок голодную пайку — в другой раз не захочешь лентяйничать!

Цзян Цзя молча развернулся, взял плетёную корзину с деревянными вилами и шагнул в пронизывающий холод ветра.

По пути через деревенские переулки просыпались односельчане. Завидев его, все отступали на три шага, а во взглядах читались презрение, равнодушие, сочувствие или злорадство.

Торговец лепёшками Старик Ван, заметив его тонкую одежду и уверенную поступь, почувствовал укол жалости и тихонько поманил пальцем:

— Цзя-эр, подойди-ка.

Цзян Цзыя не спеша подошёл и отвесил лёгкий поклон:

— Дядя Ван.

Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто не смотрит, Старик Ван быстро достал из пароварки половину холодной пшеничной лепёшки, сунул её мальчику в руку и понизил голос:

— Возьми, спрячь побыстрее, чтобы твоя злая тётка не заметила. Тяжело тебе, ребёнок...

Цзян Цзыя тихо сказал:

— Благодарю дядю Вана за помощь, младший сохранит это в сердце.

Его пальцы ощутили слабое тепло лепёшки. Подняв глаза на Старика Вана, он лишь одним взглядом разглядел его: добросердечен, мягок на язык, всю жизнь промышляет мелкой торговлей, робок и боязлив, но в нём всё ещё теплится капля сострадания; нет великого зла, нет великого богатства, жизнь течёт мирно.

Он не стал отказываться и не стал сыпать излишней благодарностью, лишь спокойно сложил руки:

— Когда дядя Ван пойдёт сегодня по делам, пусть избегает западной крутой тропы. В последние дни там скапливается зловещая ци, есть риск поскользнуться и упасть, берегите ноги.

Старик Ван опешил. Посчитав это случайным мальчишеским предупреждением, он улыбнулся:

— Понял, ступай давай, смотри, как бы кто не увидел.

Цзян Цзыя кивнул, спрятал лепёшку за пазуху и пошёл дальше. Шёл он в одиночестве, шаг за шагом — уверенно, мощно, не спеша и не отставая.

Он отлично понимал, что эта половинка лепёшки — лишь крохотный огонёк света в смутное время, к тому же мимолётное сострадание простого смертного, о котором не стоит долго помнить и к которому нельзя привязываться сердцем.

На задних горных склонах лежал ледяной мороз, сухая трава покрылась снегом, косить было тяжело.

Наклонившись, Цзян Цзыя срезал траву размеренными, плавными движениями, без спешки. Работая, он то и дело поднимал глаза, созерцая горные жилы на западе, движение облаков, атмосферу деревень и движение прохожих.

Вдалеке шли трое крестьян, о чём-то тихо и подозрительно споря меж собой.

Один говорил:

— Этот старый хрыч Цзян Лаошуань прошлой ночью опять заставил Старика Чэнь платить больше аренды, да ещё хочет отнять у того полмужека бросовой земли, совсем потерял совесть.

Второй отмахнулся:

— Тише ты. Он водит дружбу с уездными чиновниками, в суде всё равно не выиграть, остаётся только терпеть.

Третий вздохнул:

— Тяжкое нынче время... Добрых обижают, злодеи процветают, когда же этому придёт конец?

Цзян Цзыя слушал, словно не слыша, лишь холодно бросил на троих беглый взгляд: один трясётся за малую выгоду, но молчит, второй трусливо печётся о собственной шкуре, третий затаил несправедливость, но лишён смелости на бунт. Обычные люди своего времени, без великой доброты и без великого зла, плывущие по течению.

Наполнив корзину травой, он отправился вдоль дорог и межей собирать навоз. В смутные времена в деревнях сбор навоза считался делом низким, и при виде него прохожие зажимали носы и шарахались в стороны, а дети кидали камни и дразнили:

— Гляди-ка, книжный червь за навозом пошёл!

— Вонючая дешевка!

Цзян Цзыя словно не видел и не слышал ничего, сердце его было чище стоячей воды. Позволяя камешкам падать рядом, он не сбавлял шага, и стоило корзине наполниться — повернул назад.

Вернувшись во двор Цзянов, Лю-ши увидела полную корзину травы и ровную кучу навоза, но лицо её не смягчилось. Злобно рывкнув, она отрезала:

— Накорми быка, потом вымети снег за ворота, а после ступай в дом разводить огонь и

готовить еду! Опоздаешь — даже пожилой баланды в полдень не получишь!

— Слушаюсь, тётка.

Цзян Цзыя откликнулся и принялся за работу чётко, слаженно и споро — его действия отличались такой рассудительностью и порядком, каких не сыскать было и в ином взрослом слуге.

Стоя на пороге, Лю-ши тайком удивлялась про себя: этот мальчишка больше двух лет сносил побои, холод, голод, тяжёлый труд и унижения, но так и не заболел, не сломался, не заплакал и не запросил пощады. Напротив, он делался всё более собранным и спокойным, а взгляд его казался настолько бездонным, что от него становилось не по себе.

Чем дольше она смотрела, тем сильнее раздражалась, и выкрикнула визгливо:

— Чего застыл?! Разведи огонь посильнее! Хочешь заморозить всю нашу семью?!

Цзян Цзыя поднял глаза и спокойно ответил:

— Огонь разгорается, тётка, обождите немного.

В полдень вся семья собралась за столом: жидкая баланда, пара редких овощей.

Лю-ши, Цзян Хуань и их двое детей уселись за стол, с аппетитом уплетая еду, и лишь Цзян Цзыя не досталось ни черпака — ему только холодно бросили:

— Работа ещё не закончена, какая тебе еда? Вот мы поедим, а остатки со дна котла получишь!

Цзян Хуань уткнулся в пиалу, не смея поднять глаз. На сердце его скребли кошки, а аура была робкой, как у мыши. Цзян Цзыя с одного взгляда понял: тот хотел замолвить словечко, но испугался побоев жены и проглотил слова обратно — так было всю его жизнь.

Цзян Цзыя тихо стоял в стороне в ожидании приказаний, его взгляд бесстрастно скользил по членам семьи, а на сердце не было ни единой ряби.

Младший сын, Цзян Ху, заметив, что тот не двигается, намеренно швырнул миску с баландой на землю, расплескав её, и заорал, тыча пальцем в Цзян Цзыя:

— Мам! Он на меня пялится! Он обижает меня!

Лю-ши пришла в ярость, схватила лежавшую у печи поленницу и с криком бросилась на него:

— Мелкий ублюдок! Смеешь обижать моего сына! Прибью!

Деревянная палка опустилась на плечи и спину, свежие раны легли поверх старых, боль пронзила кости. Однако Цзян Цзыя стоял непоколебимо, как скала — не уворачивался, не отступал, не оправдывался и не издал ни звука. Взгляд его оставался чистым и спокойным, брови даже не дрогнули.

Он видел всё насквозь: Цзян Ху нарочно закатил истерику и оклеветал его, переняв от матери злой и эгоистичный нрав. С детства привыкший издеваться над слабыми, в будущем этот мальчиц непременно вырастет в испорченного бунтаря, что принесёт лишь беды.

Цзян Хуань в панике схватил Лю-ши за рукав:

— Жена, умерь гнев, племянник не со зла, не бей его больше!

— Убирайся! Ты его и избаловал! — оттолкнув мужа, Лю-ши злобно воззрилась на Цзян Цзыя.

— А ну на колени! Извиняйся перед Ху-эром!

Цзян Цзыя плавно согнул колени, спокойно опустившись на землю. Спина его по-прежнему держалась прямо, без раболепия, но и без вызова. Глядя на Цзян Ху, он тихо произнёс:

— Я недосмотрел и расстроил младшего брата, надеюсь, он великодушно простит.

Голос звучал ровно, без унижения и толики злости, словно он констатировал обыкновенное житейское дело.

Заметив такое равнодушие, Цзян Ху потерял интерес к спектаклю, скривил губы, фыркнул и перестал реветь.

Видя его бесчувственную покорность, гнев Лю-ши начал утихать, но она всё равно злобно бросила:

— Вставай, приberi на полу, а потом марш к реке стирать! Если не перестираешь всю одежду до вечера — в сарай не пущу, и крошки в рот не возьмёшь!

— Младший повинуется.

Цзян Цзыя поднялся, молча вымел пол, подхватил огромную бадью с грязным бельём и зашагал к ледяной реке на окраине деревни.

Река по-прежнему скована прочным льдом, ветер резал плоть.

Разбив наледь, он погрузил руки в воду. Обмороженные, покрытые язвами раны при соприкосновении со льдом пронзила острая боль, тело слегка задрожало, но выражение лица и взгляд остались прежними. Он методично и скрупулёзно мят белье, движения его были уверенными и мягкими, словно он обращался со священными бамбуковыми свитками.

Неподалёку от берега несколько деревенских женщин стирали одежду, присев на корточки, и тихо переговаривались, то и дело бросая взгляды на Цзян Цзыя.

— Бедный ребёнок, ну и жестоки же эти Цзян Хуани.

— Жалость жалостью, а только чудной он какой-то. С утра до ночи слова не выдавит, а взгляд пугает до жути, словно немой каменный истукан.

— Говорят, он целыми днями читает те рваные бамбуковые планки и бормочет что-то себе под нос, нечистая сила его часом не попутала?

Пожилая бабушка А-по вздохнула неподалёку и крикнула Цзян Цзыя:

— Сынок, вода ледяная, так и здоровье подорвёшь, стирай потихоньку.

Цзян Цзыя даже не поднял головы, ответив мягко:

— Благодарю бабушку за заботу, младший в порядке.

Слова бабьего суда были не более чем обычным уличным трёпом: здесь было и сочувствие, и любопытство, и подозрения — всё человеческое, не стоящее внимания и объяснений.

Продолжая стирать белье, он поднял взгляд, окинув взором окрестности. Речной туман клубился над водой, аура деревни была беспорядочной, ци династии Шан клонилась к закату, неся народу тоску и страдания. Знаки грядущей великой смуты в Поднебесной сгущались, и до дней скитаний простого люда оставалось недалеко.

Он мысленно вздохнул:

Беспутная династия лишена праведности, народу негде жить — это горе не одного человека, это горе всей Поднебесной.